

# КОНТЕКСТ

*литературно-  
теоретические  
исследования*

**С. С. Аверинцев.**

*Символика  
Вячеслава Иванова.*

**Н. И. Казаков.**

*Православие, самодержавие, народность.*

**В. В. Розанов.**

*Мимолетное.*

**Г. Г. Шпет.**

*Герменевтика и ее проблемы.*

**1989**

«НАУКА»

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
Институт мировой литературы  
им. А. М. Горького

# КОНТЕКСТ

*литературно-  
теоретические  
исследования*

# 1989

Ответственный редактор  
А. В. МИХАЙЛОВ



МОСКВА «НАУКА» 1989

ББК 83.3  
К11

Редакционная коллегия:

Ф. Ф. КУЗНЕЦОВ, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ,  
Л. Д. ГРОМОВА-ОПУЛЬСКАЯ,  
Г. А. БЕЛАЯ, А. В. МИХАЙЛОВ (ответственный редактор),  
С. А. НЕБОЛЬСИН, М. Л. РЫЖКОВА (ответственный секретарь)

Рецензенты:

доктор филологических наук А. С. ДЕМИН,  
доктор философских наук Э. Ф. ВОЛОДИН

К11 **Контекст-1989.**— М.: Наука, 1989.— 270 с.

ISBN 5—02—011370—0.

«Контекст-1989» открывает новое направление литературно-теоретического ежегодника. Среди публикуемых в сборнике статей — работа С. С. Аверинцева о Вяч. Ивановс, исследование Н. И. Казакова, посвященное истории формулы «православие, самодержавие, народность» и ее функции в русской культуре XIX в., эссе А. В. Королева о Пушкине и Фаворском. Значительно расширен раздел публикаций: в частности, печатаются фрагменты неизданной книги Вас. Розанова; начинается первая публикация классической книги Г. Г. Шпета «Герменевтика и ее проблемы».

Сборник представляет интерес как для литературоведов, историков культуры, философов, так и широкого круга читателей.

К  $\frac{4603010000-100}{042(02)-89}$  444—89 — Кн. 1.

ББК 83.3

ISBN 5—02—011370—0

© Издательство «Наука», 1989

# ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ И ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ

*И. В. Корецкая*

27 апреля 1920 г. Вяч. Иванов выступил в Москве на диспуте «Будущее поэзии». Вот выводы его речи: «Поэзия должна в будущем стать органом планетного сознания человечества», «стать голосом всей земли». Ей предстоит «обратиться к монументальным линиям», «найти формы хорового звучания, ибо слишком долго лирика была принадлежностью только затерявшегося и оторвавшегося от целого ...от своего собственного народа, отдельного... человека с его уединенным подпольем». Грядущая поэзия, полагал Иванов, «отучится от той мелочности психологизма, которая теперь проникает ее, от этой ничтожной возни личности с самой собой, от всех этих элементов мелкой психологической ряби <...>. Может быть, эта мелочность есть следствие действительно оставленной позади эпохи буржуазного строя, не только в материальном, но и в психологическом смысле»<sup>1</sup>.

Здесь высказан новый для Иванова взгляд на буржуазную природу индивидуализма. Но в целом этико-эстетические константы ивановского мира, возникшие на рубеже веков, сохранились. Неприятие субъективизма, искание общественных ценностей в жизни и в искусстве определили позицию Иванова в символистском движении. Обратимся к одному из его эпизодов, недостаточно проясненному.

Противостояние Вяч. Иванова и Ин. Анненского осознавалось обоими уже с начала их общения, завязавшегося весной 1909 г. Взаимные ограничительные оценки в письмах и статьях (о чем речь ниже) были закреплены и в посланиях друг другу. Направленное Ивановым Анненскому в октябре 1909 г. стихотворение «Ultimum vae» звучало как укор и размежевание: Анненский — «обнажитель беспощадный», он «святоотатственно» нарушил уединение творящего Я, «подслушал» его «молитвы». Смысл послания Иванова раскрывается в свете литературной ситуации весны—осени 1909 г. Тогда начинался ежемесячник «Аполлон», и близкому к нему Иванову был известен до печати текст статьи Анненского «О современном лиризме», которая шла как передовица критического отдела этого журнала (в его первых трех номерах). «Ultimum vae» — ответ на эту статью.

Иванов не преувеличил: ее тон разоблачителен. Символизм предстал не как авторитетная жизнестроительная доктрина, а как литературная школа, во многом себя исчерпавшая. Тот вывод о кризисе течения, к которому год спустя придут его лидеры, а затем и акмеисты, наметился уже здесь. В статье сказано обывательное Анненского-критика вскрывать «изнанку поэзии» (так был назван заглавный раздел его «Второй книги отраже-

ний», 1909). В отличие от Иванова с его «панорамным» взглядом на художественное явление в широком культурно-историческом контексте Анненский был склонен углубляться в психологическую подоплеку произведения, обнажать пружины творческого процесса. Анатомирующей аналитике подвергнута в статье поэзия Брюсова, Сологуба, Бальмонта, Блока, а также начинавших тогда вблизи символизма Кузмина, Волошина, Гумилева, молодого А. Толстого и др.

Говорить об Иванове до выхода «*Cor ardens*» Анненский считал преждевременным. Но, работая над статьей, все же попытался набросать портрет его автора. Обильные цитаты из сборника Иванова «Прозрачность» сопровождаются оценками то собственными, то ограничительными. Выбирая характерное, отмечая лучшее («превосходными» названы стихотворения «Гроза», «Нарцисс», «Кармил»), Анненский заключал: «Как пленяет эта смарагдная красота просветов в мучительстве достижений. Что-то редкое, самоцветное, холодное». Фиксирует Анненский присущую Иванову сгущенность поэтической речи. «Словам тесно» — замечает он по поводу строк типа «Чрез серый пелл и мрак завес», где усеченные формы повышают вместимость стиха. Утверждающий пафос отмечен как характерная черта поэзии Иванова: «Все хочет говорить, блеснуть, вещать, радовать» — резюмирует Анненский, цитируя ивановские хвалы «божественному Да». По поводу триптиха «Прекрасное — мило» с его гимнами торжествующей Красоте Анненский восклицает, обращаясь к Иванову: «Неужто не поднимешься ты над Красотою. Неужто?» А далее выражает собственное ее понимание, отличное от ивановского: «И только тогда она прекрасна, когда в ней есть сомнение, трепет, мольба о прощении, когда она живая человеческая краса, только тогда эта мысль может тронуть нашу чувствительность <...>. А у Вяч. Иванова — «Снега зарей одеты/В пустынях высоты,/Мы — Вечности обеты/В лазури Красоты...»<sup>2</sup>.

Как главное выделил Анненский присущее ивановской поэзии противоречие между ее «мифотворческими» задачами и эстетизмом формы. На примере стихотворения «Суд огня», трактовавшего ахейскую культовую легенду, Анненский показывал, как «криптограммы» Иванова-мифолога «мешают понимать его поэзию», хотя «миф тем-то ведь и велик, что он всегда общенароден»<sup>3</sup>. Тот же смысл имела и реплика Анненского в письме 6 марта 1909 г. Волошину, приверженному тогда ивановскому типу творчества. Отстаивая интересы «читателей русских» вплоть до самых провинциальных, «усть-сысольских», Анненский иронизировал по поводу тайнописи Иванова, доступной лишь узкому кругу посвященных: «Что сделал с русской публикой один Вячеслав Иванович?.. Насмерть напугал все Замоскворечье... Мы-то его понимаем, нам-то хорошо и не боязно <...> А сырой-то женщине какво?..» — добавлял критик, комически сочувствуя какой-нибудь затрапезной чиновнице Островского,

которой вдруг попались бы на глаза ивановские стихи (КО, 486).

Герметическая поэтика Иванова, по мнению Анненского, — следствие индивидуализма. В Иванове всегда виден «личный и гордый человек», который не может стать на точку зрения того «коллективного», пускай «случайного Я», от имени которого говорит сам Анненский. Подобный упрек певцу соборности в устах субъективного лирика, адресованный Анненским Иванову в одном из писем<sup>4</sup>, казался парадоксальным. Формула Пушкина—Достоевского «гордый человек» звучала намеренно полемично по отношению к Иванову, не раз осуждавшему мятеж «своена-чальной личности против общественного начала»<sup>5</sup>.

Иванову с его умозрительной поэзией, которая действует прежде всего на «интеллектуальное чувство», противопоставлен в статье Анненского «шаман-Сологуб»; он вовлекает в свои «кошмары» вопреки «рассудку и воле». Анненскому был близок тип лиризма Сологуба, устремленного к переживаниям бытийной драмы. Ибо сам Анненский-лирик соприкасался с предэкзистенциалистской линией, обозначившейся в русской мысли и искусстве (Л. Шестов, Л. Андреев), к которой тяготел Сологуб. Иванову же, чей мир был ориентирован на «кормчие звезды» сверхличных ценностей, подобные устремления были чужды. Проницательный К. Сюннерберг решительно противопоставил Иванова, чья мысль «летит „по звездам“», Анненскому, которого манят «бездны» «обнаженной души человеческой». «У одного — уверенность и синтез нашего, у другого — безнадежность и анализ ищущего», — заключал Сюннерберг, сравнивая «По звездам» и «Вторую книгу отражений»<sup>6</sup>.

Против появления в «Аполлоне» «размежевательной» статьи Сюннерберга Иванов, по-видимому, не возражал: он стремился обособить свою позицию с первого же номера журнала. Помещенное там его выступление «О проблеме театра» оценивало современный сценический субъективизм (близкий лидерам журнала) как «искажение целей и путей театра», призванного «слить театральные коллектив в хоровое сознание и действие».

Статья Анненского вызвала недовольство в кругу «Аполлона», протесты ряда поэтов<sup>7</sup>. Иванов поступил дипломатично: в письме от 16 октября 1909 г. он благодарил Анненского за его слово<sup>8</sup>, но приложил к письму укоризненные строфы «Ultimum vale». Анненский ответил, что, отдавая дань цельности «сложного и покоряющего лиризма» ивановского стихотворения, не хочет полемизировать против его «личного коррелата» (КО, 493). Тем не менее полемичным оказалось стихотворение Анненского «Другому». Включенное без указания адресата и даты в раздел «Складни» сборника «Кипарисовый ларец», оно обращено, по нашему мнению, к Иванову и написано во внутреннем споре с ним, лишь частично отразившемся в статье «О современном лиризме». Иносказания «Другому» дешифруются по связи: а) с посланием Иванова, б) с оценками Иванова Анненским в статье «Аполло-

на». «Другому» присущи размах, «безумный порыв», пафос стихийного. Его мечты — менады» с разметанными волнами кос, его огонь «испепеляет» дочиста, слово сладостно, будущий памятник «незыблем». Ясно, что речь идет не об одном из поэтов данного круга, а об их предводителе. К Иванову отсылает уподобление его муз менадам; в статье Анненский отметил нашумевшую ивановскую «Менаду» с «великолепием» ее «победных кретиков» и «изумительным затиханием» экстатического пульса. Иной облик у музыки Анненского: это прилежная Андромаха за ткацким станком. Ивановские упреки «обнажителю беспощадному» Анненский принимает: да, он привык снимать покров тайны с «вещих снов» творчества, раскрывать его «иероглифы». Масштабы автора и адресата послания различны, их устремления контрастны. Там, где «другой» — «бог», автор лишь «моралист». По-разному встретят оба и свой конец: «другой» — «в лепестках душистого венца», Анненский — «задвинутым на дроги». Исследователь Блока П. Громов отметил сходство стихотворения «Другому» с блоковским посланием Иванову 1912 г., где «царскому поезду» ивановского творчества противостоит «печальный, нищий, жесткий» поэт, не покинувший «пыльного перекрестка» жизни<sup>9</sup>. Но Громов не думал, что, как и в блоковском послании, адресатом Анненского был Иванов. Вряд ли можно согласиться с предположением итальянского слависта Э. Баццарелли, что послание обращено к некоему «идеалу поэта»<sup>10</sup>; оно слишком иронично.

«Другому» оказалось одним из последних произведений Анненского. Вскоре Иванов слал телеграмму семье поэта со словами сочувствия внезапной утрате. Декабрь 1909 г. прошел в «Аполлоне» под знаком памяти Анненского: готовилась подборка некрологических материалов. Выступления Волошина, Чулкова, Ф. Зелинского завершала ивановская статья об ушедшем поэте. Иванов предпочел оценить наследие Анненского в типологическом аспекте. Приближалась дискуссия о «заветах символизма», и поэзия Анненского явилась для Иванова еще одним доказательством бесплодности первичной из двух «стихий» течения. «Ассоциативный» тип символизма, присущий Анненскому и восходивший к завещанному Бодлером методу «соответствий» внутреннего и внешнего, для Иванова бесперспективен этически и эстетически. «Разорванность идеала и воплощения» порождает гамму отрицательных эмоций. Их осложняет у поэта «расколотой души», который «бессилен религиозно», комплекс «подполья», прикрываемый маской скептицизма. Кру́гом негативных впечатлений, воссоздающих «цепенящую... косность» неистинного бытия, ограничен импрессионизм Анненского, стремящийся к «эффекту разоблачения». Порыв к гармонии Иванов находил лишь в «античных» драмах Анненского, более всего в лирической трагедии «Фамира-кифарэд»; здесь разлад земного и небесного, достигая катартической стадии, приводит автора «на порог мистики» (1910, IV, 16—17).

Однозначность подобного истолкования мира Анненского (которое отчасти повлияло на восприятие поэта современниками и потомками) объяснялась не только целями внутрисимволистской полемики и принадлежностью Иванова к другой — теургической — «стихии» течения, не только разницей натур, темпераментов, устремлений «нерадостного поэта» и певца «всерадостного Да». Дело было и в неполноте материала, которым пользовался Иванов. Работая над статьей, Иванов, как оказалось, не имел текста «Кипарисового ларца», находившегося в печати, и знал лишь его отдельные пьесы. Об этом обстоятельстве свидетельствуют письма к Иванову В. И. Кривича-Анненского, сына поэта. Студиец Иванова по «Академии стиха», Кривич писал ему после чтения корректуры его статьи об отце: «Мне жаль, что я не мог предоставить Вам „Кипарисового ларца“. По характерности он ярче „Тихих песен“ <...>. Там беспокойному духу ворожат уже иные дали». А до того, при посылке Иванову первого сборника Анненского, Кривич заметил: «От большей части „Тихих песен“ отец отошел давно <...>. Конечно, „Ларец“ был ближе и больше — там больше Я»<sup>11</sup>.

Истолкование лирической судьбы Анненского как драмы декадентского индивидуализма ощущалось и в других материалах январского номера «Аполлона». Чулков, писавший о «траурном эстетизме» «Книг отражений», сокрушался, что их автору «нечем было любить бога». Волошин увидел в «бескрылой, как Акропольская Победа», поэзии Анненского выражение периодов «упадка духа» (1910, IV, 10, 13). Вскоре юный О. Мандельштам, близкий тогда к Иванову, назовет Анненского поэтом «отливов дионисийского чувства»<sup>12</sup>. Волошин сетовал на удаленность Анненского от теургического искусства: «окоченелость души» мешала поэту сделать свое слово «именем», т. е. «одухотворить его призывной, заклинающей силой». Единодушные этих выступлений со статьей Иванова позволяют предположить его направляющую редактуру.

Стилевые тенденции Анненского-импрессиониста Иванов осудил в связи с возникавшими в русском искусстве на переломе от 900-х к 910-м годам неоклассицистическими тенденциями. Вспомним гомеровский цикл В. Серова, хор «Прометей» С. И. Танеева, неоампир в архитектуре (у И. Фомина, В. Шуко и др.). «Опять нравятся, — отмечал Иванов, — стародавние заветы замкнутости и единства формы, мы опять стали называть вещи своими именами без перифраз, мы хотели бы достигнуть впечатления красоты без помощи стимулов импрессионизма» (1910, IV, 18). Первый манифест литературной неоклассики — статья М. Кузмина «О прекрасной ясности», выдвигавшая «кларизм» формы как коррелят «целительного» творчества, живущего в «мире с собой и миром», был направлен против выразителей «расщепления» духа. Кузмин здесь повторял Иванова, не раз требовавшего от художника «врачевания и очищения»<sup>13</sup>. Как оказалось, манифест кларизма и самый термин были инспи-



рированы Ивановым<sup>14</sup>. Призывы к «прекрасной ясности» неслучайно прозвучали в том номере, где журнал прощался с Анненским. Для Иванова и его сторонников гармонизирующая неоклассика — путь преодоления влияний поэта «расколотой души».

Однако инкриминируемый Ивановым Анненскому импрессионистический иллюзионизм не исчерпывал стилевых исканий автора «Кипарисового ларца» так же, как и субъективизм, пессимизм — его противоречивого мирсоздания. Анненский писал, что завещает потомкам только свою «тоску». Действительно, спектр негативных эмоций в его лирике весьма широк. Однако в нем не только личная боль, не только переживание извечного трагизма бытия, но и драма многих незадавшихся судеб, недопетых песен, неразделенных чувств. «Нет» Анненского также и горестный счет обидам обездоленных, «всех, чья жизнь невозвратима». Песнь страдания и сострадания обретала у Анненского новые для символистской лирики формы. Значимость быденной вещи и поэзия вещественного, расширение прав «будничного слова», прозаизма — эти новшества мастера «Кипарисового ларца» пригодились не только акмеистам — Ахматовой, Мандельштаму, но и другим поэтам постсимволистской поры, прежде всего молодому Маяковскому, Пастернаку<sup>15</sup>.

Сохранилась примечательная зарисовка беседы Иванова и Анненского, сделанная современницей: «...Застегнутый на все пуговицы, внешне чиновный, он (Анненский.— И. К.), с раздражением подергиваясь одной стороной лица, сказал: „Но с Вами же нельзя говорить, Вячеслав Иванович, Вы со всех сторон обставлены святынями, к которым не подступись!“»<sup>16</sup>. Здесь зафиксировано, пожалуй, главное расхождение двух поэтов. Антидогматизму Анненского, мечтавшего о дне, когда бы он «разбил последнего идола» (КО, 485), противостоял ценностный мир Иванова с его верой в незыблемые нормы должного и оптимистическим жизневосприятием. Еще в начале века критика называла Иванова «неунывающим россиянином»<sup>17</sup>. Молодому Мандельштаму, весьма ценившему Иванова, его поэзия напоминала «густой благовест». В 1920 г. в суровой Москве Иванов говорил студийцам: «...Минор ниже мажора», минор — «не царь, царь — это мажор, это яркость, это радость»<sup>18</sup>. Тогда же Иванов отмечал присущее ему видение «славы, т. е. онтологической сущности вещей»; соответственно для него «поэт и есть тот, кто славословит»<sup>19</sup>. Даже после поражения революции 1905 г., когда в поэзии адепта «мистического анархизма» звучало убежденное «нет» «каинову» самодержавию, мировоззрение автора «Годины гнева» не утратило исторического оптимизма, «sprego» преобладало над «odi», грядущее Иванов оценивал «в надежде славы и добра».

Ивановский образ, троп — всегда результат его общего устремления в высоту. Образ у Анненского обычно снижен, нарочито депозитизирован. Иванову даже смерть видится в аспекте воскресения; «Stirb und werde!» — любит он повторять девиз

Гёте, восходивший к евангельской притче о зерне, которое не прорастет, если не умрет. У Анненского нет воскресения, его Лазари «забыты в черной яме»; его весна — не возрождение природы, а «смерть» зимы («Черная весна»). Солнцеподобному сердцу Христа-Диониса, этой двойной эмблеме альтруистического подвига в поэзии Иванова, противостоит «сердце — счетчик мўки» у Анненского. Уподобление участи обреченного лирического Я старой шарманке или «опалому» воздушному шарик у («Все еще он тянет нитку/И никак не кончит пытку»), уподобление, характерное для Анненского с его антииерархической поэтикой, немыслимо у Иванова. У него, как выразился М. Бахтин, «нет мезальянса, соединения высокого и низкого, и все достойно»<sup>20</sup>.

Как чуждое себе Иванов не раз подчеркивал присущую скептическому зрению Анненского «обнажающую» тенденцию. Для Иванова же «разоблачение» противопоставлено самой сути творчества, поскольку «дело художественного гения — являть ноуменальное в облачении феномена»<sup>21</sup>. Сам Иванов был особенно склонен «облачать», рядить заветную идею в одежды многообразных иносказаний; вариативность образных форм как бы искупала стабильность содержания<sup>22</sup>; при этом знаковая сфера произведений поэта-ученого, «Фауста нашего века» (А. Белый) была весьма сложна. Творчество Иванова, отмечал Блок, заставляет «считаться со всем многоэтажным зданием человеческой истории»<sup>23</sup>. Вл. Ходасевич сравнивал пышную постройку «*Sog ardens*» с великолепием венецианской базилики Св. Марка, вобравшей сокровища искусства, «которые были старше его»<sup>24</sup>. Мандельштам уподобил воздействие ивановской книги «По звездам» пребыванию под сводами Notre Dame, где каждый ощущает себя католиком даже помимо воли<sup>25</sup>. Интеллектуальная, рационалистически постигаемая поэзия Иванова вызывала аналогии с зодчеством. Эмоционально воспринимаемая лирика Анненского, признания его «души, убитой непосильной тоской» (Блок), рождала ассоциации музыкального типа.

Основополагающая для мировидения Иванова категория «памяти», которая определяет развитие культуры, обусловила его представление о художнике как олицетворенной памяти человечества. «Учит он — вспоминать», — говорит Иванов о поэте. В эстетике Иванова путь современного художника через символ к мифу — акт «памяти», утверждение связи времен. Для Анненского-«Гамлета», как его назвал современник (Г. Чулков — 1910, IV, 10), «распалась связь времен», и утратившему цельность современному сознанию не возродить мифа, который «всегда общенароден». Функция символа по Анненскому — субъективно-психологическая, в отличие от ознаменовательной у Иванова.

Античные драмы Анненского — не столько реконструкция мифа, сколько явление лирического театра<sup>26</sup>. Именно так трактовал «Фамиру-кифарэда» Иванов (1910, IV, 19). Для Иванова его античные трагедии («Тантал» и «Ниобея», 1905, «Прометей»,

1907—1914) — реализация религиозно-театральной утопии как части его культурно-социальной концепции. Античная трагедия для Иванова — прообраз чаемой современной трагедии, которая, возрождая древний миф, воссоединит поэта и народ<sup>27</sup>. Предмет драмы по Иванову — основные процессы мировой жизни; участники драмы — ипостаси «единого человеческого Я», их судьбы — знаки «всеобщей судьбы». Современную драму Иванов отвергает как субъективную, в которой «личины становятся масками ее творца», а предметом оказывается душевный мир индивидуума. Подобные мысли прозвучали и в упоминавшейся выше декларативной статье Иванова «О проблеме театра» в «Аполлоне» (1909, № 1). Анненскому же путь воссоздания «объективированной» античной драмы был чужд. «Найдите, например, попробуйте, Вячеслава Иванова в „Тантале“ (<...> он там и не бывал никогда), — укоризненно писал Анненский в статье «О современном лиризме» (КО, 348).

Из древнегреческих трагиков Иванова более всего привлекал Эсхил, чьи трагедии говорят о направляемых «разумной божественной волей» законах универсума и человеческого общества, чье творчество проникнуто пафосом должностования, нормы, носителем которой выступает хор<sup>28</sup>. Иванов перевел размером подлинника все семь трагедий Эсхила. Анненским же был особенно ценен Еврипид, этот, по слову Иванова, «первый трагик личности». Анненский явился создателем «русского Еврипида», переведя «Ифигению», «Медсю», «Алкесту» и многие другие трагедии. Ему импонировал религиозный скепсис Еврипида, его интерес к «душевной диалектике»; «особая чуткость к легендам страдания». Черты модернизации и субъективизма, за которые упрекали Анненского тогдашние филологи, были выражением позиции. Она сказалась и в парафразах Анненского на темы Еврипида (драмы «Меланиппа-философ», «Царь Иксион», «Лаодамия») и Софокла («Фамира-кифарэд»). В предисловии к первой из них Анненский писал, что в «античных схемах» его пьесы «отразилась душа современного человека»<sup>29</sup>. В трех своих трагедиях Иванов, стремившийся к «жреческому» мифотворчеству, создал «учительные» произведения, сохраняя главенствующую роль хора и иератическую речь. Анненский и в своей драматургии, ориентированной на античный образец, остался верен лирико-психологическим задачам и антииерархической поэтике, в данном случае и объективно оправданным, благодаря свойственным Еврипиду «обмирщению» высокого жанра, вторжению бытовых элементов, просторечья, уменьшению роли хора и сокращению дистанции между ним и героями. Тем самым и драматическое творчество Иванова и Анненского, — подобно их лирике, критике, эстетике — дает две типологические разновидности символистской драматургии.

Различия миров Анненского и Иванова рельефно видны в пространственно-временном строе поэзии обоих. Урбанистические мотивы, столь существенные для Анненского (как и для

Брюсова, Блока, Белого), не привлекают Иванова, чей взор устремлен в «Аттику и Галилею» или в сверхпространство космических далей. Иванову с его пафосом «безмежья» ненавистны любые «стены», пространство его поэзии разомкнуто во вселенские выси. Пространство лирики Анненского замкнуто стенами (городского интерьера, библиотечной залы, вагонного купе), а пейзаж часто ограничен решеткой парка, аллеей сада, увиден с ближней точки, дан в «кадре», как это бывало в импрессионистической живописи. Пейзаж у Иванова — горизонты, открывшиеся с вершин. В ивановском временном диапазоне преобладают категории прошлого и будущего (в отличие от сосредоточенности Анненского на настоящем, часто мгновенном). Поскольку прошлое для Иванова прежде всего путь в грядущее, поэт — не только «воспомяатель», но и пророк, провидец, прорицатель. На уровне стиля это дает велеречивость (Иванов в шутку называл ее впоследствии «вячеславизмом»), обилие императивных форм. Их нагнетение сообщает иным строфам Иванова особую повелительную энергию; вспомним финальные катрены «Кочевников красоты», где призыв к творческой свободе звучит с заклинательной силой.

Там, где у Иванова проповедь, у Анненского — исповедь. В отличие от убежденности Иванова, здесь сомнение, недоумение, смятенность, культивируемые поэтом. Соответственно синтаксис Анненского отмечен обилием вопросительных и условных форм, как бы передающих вибрацию души лирического Я, его погруженность в грезу, поэзию смутного («Träumerei», «Призраки» и мн. др.). Слово Иванова призвано внушить представление о стойкости героического духа, о незыблемости вечного (даже тогда, когда это «вечный бунт»). Слово Анненского стремится передать текучесть преходящего. Образ Иванова верен своей «тяжкогранной природе» (А. Белый); поэт пристрастен к эмблемам твердости. У Иванова лед «алмазный», у Анненского он «нищенски-синий и заплаканный» («хвалебный» эпитет декоративного типа в первом случае; «снижающий» и психологизированный — во втором). Прочность свойственна и фактуре ивановского стиха, отлитого в «твердую» строфику (сонета, терцины, газели), и лексике Иванова, которой присуще «сведение слова к его твердому изначальному ядру»<sup>30</sup>. Иванов «скульптурит холмы, высекая в них рощи из камня», — писал Белый; мастерство Иванова современники уподобляли искусству зодчего, резчика, медальера. Стих Иванова, перегруженный сверхсхемными ударениями, не напевен. Певучесть стиха Анненского — одно из проявлений его поэзии музыкального типа с характерными камерными жанрами романса, прелюда, ноктурна, интермеццо. На палитре Анненского — обилие полутонов, оттенков; цветовая символика имеет субъективно-психологический смысл. Цвет у Иванова озаменователен, как в иконе или сакральной мозаике. Рдяный, белый, золотой в безусловно своей полноте — знаки высоких мистических ценностей.

Пафос положительных начал, многообразно явленный в поэзии Иванова, обусловил и его позицию критика. Так, например, значение реализма Л. Толстого – «разоблачителя и обличителя» Иванов решительно ограничивал<sup>31</sup>. За каждым словом Толстого «слышится отголоском пессимистическое „нет“», видно намерение «обличить тщету и ложь и печальную призрачность явлений», – писал Иванов, противопоставляя Толстому Гомера, «каждый эпитет и глагол которого есть наивное „да“ вещам и действиям...»<sup>32</sup>. Анненский же осуждал не столько негативный пафос Толстого (хотя, как и Иванов, не прощал ему «бунта» против культуры), сколько его «да» иллюзиям непротivления. Характерна ивановская неприязнь к Гоголю, чей критический реализм и защиту «маленького человека» высоко оценил Анненский в первой «Книге отражений». Иванов считал миры Гоголя и Достоевского «полярно противоположными»: «у гоголевских героев души мертвые... а у героев Достоевского души живые», «воскресающие»; по мнению Иванова, «чуждым ему по духу» опытом автора «Шинели» Достоевский пользовался недолго на заре писательства<sup>33</sup>. Автора «Книг отражений», напротив, Достоевский интересует в его близости к Гоголю. Иванову более всего дорога у создателя «Карамазовых» проповедь нравственно-религиозной интеграции, «возродительный душевный процесс», коллизия катартического очищения своевольной личности. Даже в анализе «Бесов», писавшихся, как заметил Салтыков-Щедрин, «руками, дрожащими от гнева», Иванов сосредоточен на позитивном: он выделяет как «основной миф» романа живительное предание о Матери-Земле, всплывающее в темных пророчествах юродивой Хромоножки. Анненский же был обращен к критическому реализму социального художника, певца «бедных людей», а также к Достоевскому-психологу, «поэту совести» и творцу «искусства мысли».

Примечательна попытка Иванова истолковать в свете Достоевского лирический мир самого Анненского. О «подполье» уединенного Я его поэзии Иванов говорил в статье «Аполлона». А переиздавая ее в сборнике «Броды и межи», он добавил суждение о том, что «не кто иной, как Достоевский (...)» предугадал и дисгармонию Анненского с его лиризмом одиноких обиженных душ. Но, по мнению Иванова, лишь положительное у Анненского – энергия его «любовообильного» сердца – пребудет «живым и обогащающим жизнь»<sup>34</sup>. Время высветлило животворное и в наследии Иванова: призыв к человеческому братству, к служению одного всем, завещанный лучшими традициями русской культуры. Так, в своей конечной цели искания поэтов-антиподов оказались сопредельными. И знаменательный смысл получает реплика, обращенная Анненским к Иванову в одном из писем: «О чем нам спорить? Будто мы пришли из разных миров?..».

- <sup>1</sup> ОР ГБЛ. Ф. 109. Карт. 5. Ед. хр. 2. Л. 6—9.
- <sup>2</sup> ЦГАЛИ. Ф. 6. Оп. 1. Ед. хр. 137. Л. 10—17 об.
- <sup>3</sup> Анненский Ин. Книги отражений. М., 1979. С. 332—333. Далее в тексте: КО.
- <sup>4</sup> Письмо Анненского Иванову 24 мая 1909//ОР ГБЛ. Ф. 109. Карт. 11. Ед. хр. 43.
- <sup>5</sup> Иванов Вяч. По звездам: Статьи и афоризмы. СПб., 1909. С. 143.
- <sup>6</sup> Эрберг (Сюннерберг) К. Воздушные мосты критики//Аполлон. 1909. Кн. 2. С. 61—62. Далее год, книга и страница журнала указываются в тексте.
- <sup>7</sup> См.: Маковский С. Портреты современников. Нью-Йорк, 1955. С. 223; Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1976. г. Л., 1978. С. 229.
- <sup>8</sup> ЦГАЛИ. Ф. 6. Оп. 1. Ед. хр. 328.
- <sup>9</sup> Громов П. Блок, его предшественники и современники. Л., 1966. С. 218—220.
- <sup>10</sup> См.: Bazzarelli E. La poesia di Innokentij Annenskii. Milano, 1965. P. 46. Спор двух типов символистского творчества рассматривает в связи с посланием «Другому» К. Келли (Kelly C. V. Ivanov as the «Other»...//Cultura e Memoria. Atti del terzo Simposio Internazionale dedicato Vjačeslav Ivanov. Vol. 1. Firenze, 1988).
- <sup>11</sup> ОР ГБЛ. Ф. 109. Карт. 28. Ед. хр. 1. Л. 2 и 1 об.
- <sup>12</sup> Русская художественная летопись. 1911. № 20. С. 321.
- <sup>13</sup> Иванов Вяч. По звездам. С. 58.
- <sup>14</sup> Дневник Иванова, запись 7 августа 1909//Иванов Вяч. Собр. соч. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 785.
- <sup>15</sup> См.: Харджиев Н. Заметки о Маяковском//Литературное наследство. М., 1958. Т. 65. С. 409—410.
- <sup>16</sup> Герцык Е. Воспоминания. Париж, 1973. С. 60.
- <sup>17</sup> Образование. 1904. № 8, II отд. С. 147.
- <sup>18</sup> См.: Литературное наследство. М., 1982. Т. 92, кн. 3. С. 496.
- <sup>19</sup> Альтман М. Из бесед с поэтом В. И. Ивановым (1921)//Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1968. Вып. 209. С. 307.
- <sup>20</sup> Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 378.
- <sup>21</sup> Иванов Вяч. Борозды и межи. М., 1916. С. 81.
- <sup>22</sup> См.: Корецкая И. О «солнечном» цикле Вячеслава Иванова//Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1978. Т. 37, № 1. С. 58.
- <sup>23</sup> Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1962. Т. 5. С. 538.
- <sup>24</sup> Ходасевич В. Русская поэзия//Альциона. М., 1914. Кн. 1. С. 197.
- <sup>25</sup> Письмо О. Мандельштама Иванову 13/26 августа 1909/Публ. А. Морозова//Записки Отдела рукописей ГБЛ. М., 1973. Вып. 34. С. 263.
- <sup>26</sup> См.: Федоров А. Иннокентий Анненский: Личность и творчество. Л., 1984. С. 227.
- <sup>27</sup> См.: Герасимов Ю. Предисловие к публикации «Нюбей» Вяч. Иванова//Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1980 г. Л., 1984. С. 179—180.
- <sup>28</sup> См.: Ярхо В. Эсхил. М., 1958.
- <sup>29</sup> Анненский И. Стихотворения и трагедии. Л., 1959. С. 308.
- <sup>30</sup> Аверинцев С. Вячеслав Иванов//Иванов Вяч. Стихотворения и поэмы. Л., 1976. С. 27.
- <sup>31</sup> См.: Malkovati F. Vjačeslav Ivanov e Leo Tolstoj//Contrib. ital. all'VIII Congr. Intern. delgi slavisti. Roma, 1978.
- <sup>32</sup> Иванов Вяч. Лев Толстой и культура//Борозды и межи. С. 80—81.
- <sup>33</sup> Иванов Вяч. Достоевский и роман-трагедия//Там же. С. 17.
- <sup>34</sup> Иванов Вяч. О поэзии Иннокентия Анненского//Там же. С. 311.

## СОДЕРЖАНИЕ

От редколлегии 3

### СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

---

- Н. И. Казаков*  
Об одной идеологической формуле николаевской эпохи 5
- С. С. Аверинцев*  
Системность символов в поэзии Вячеслава Иванова 42
- И. В. Корецкая*  
Вячеслав Иванов и Иннокентий Азненский 58
- А. В. Королев*  
Пушкин и Фаворский (Иллюстрация как опыт исследования художественного текста) 69
- И. Н. Кузнецов*  
Гердер о французской революции: Аврора и Адрастея 103

### ПУБЛИКАЦИИ

---

- Мих. Лифшиц*  
Дневник Мариэтты Шагинян. Подготовка публикации Л. Я. Рейсгардт 129
- В. В. Розанов*  
Мимолетное. Подготовка публикации, вступительная заметка и примечания В. Г. Сукача 172
- Г. Г. Шпет*  
Герменевтика и ее проблемы. Вступительные замечания, подготовка текста и публикация Л. А. Митюшина 231